Ю.Е. ПЕРМЯКОВ

Провинциальное правопонимание: опыт исторической непричастности

Статья посвящена исследованию специфики провинциального отношения к праву. Автор полагает, что с помощью пространственных характеристик можно выявить и описать особенности провинциального правопонимания.

Ключевые слова: правовое сознание, пространство, ценность права, легитимность государственной власти, юридическая сила, правовая культура, онтологические основания права.

The article is devoted to the study of the specifics of the provincial relationship to the law. The author believes that with the help of the spatial characteristics is to identify and describe the features of the provincial interpretation and understanding of law.

Keywords: legal concsiousness, space, the value of the law, the legitimacy of state power, the juridical force, legal culture, ontological foundation of law.

Провинциальное правопонимание являет собой специфическую модель права и правовой жизни. Дело не в том, что провинция живет своими законами, а в том, что по малоизвестным пока причинам эта жизнь наполнена иным смыслом. Категория “провинциальный менталитет” обращает нас к проблеме пространственных характеристик права. Мало того, что у права есть свое пространство, вбирающее в себя отдельные проявления человеческой личности, но и внутри этого пространства расположены особые территории, где пространственные взаимоотношения правовых явлений искривляются или преображаются: дальнее становится близким, близкое – дальним.

Правовая жизнь изобилует явлениями, к которым легко приложимы пространственные характеристики. Когда мы обсуждаем, к примеру, пределы допустимого вмешательства государства в частную жизнь или разграничение функций государственных органов, то в поисках аргументов для защиты своей позиции так или иначе обращаемся к пространственной модели мира. Пожалуй, нет ни одной проблемы права, где бы мы не увидели столкновение позиций, субъекты которых занимают различные места в пространстве власти и права. Даже само понятие “столкновение” есть пространственная характеристика конфликтного взаимодействия взаимонаправленных интересов.

Что же обозначает категория “пространство” и каким смыслом она наполняется, когда речь заходит о сущности правовых явлений? Русское слово “пространство” производно от другого слова – “простор”. Пространственное бытие вещи указывает на состояние, в котором она пребывает. Нечто, отпущенное на простор, обретает те формы, которые соответствуют его природе. Пространство наполняется формами, незаполненное пространство мы называем пустотой. Можно войти в пустое пространство, которое впускает в себя. К примеру, если мы несем пианино на восьмой этаж, наши действия имеют смысл при условии, что его габариты соответствуют дверному

Пермяков Юрий Евгеньевич – кандидат юридических наук, доцент Самарского государственного университета.

проему и размерам комнаты, в которой оно будет стоять. Отсутствие незаполненного пространства заставляет изменить структуру самой вещи, скажем, снять футляр, отвинтить ножки или разобрать на составные части. Эта процедура неприятна, поскольку всякая вещь существует постольку, поскольку сохраняет свою структуру.

Право также может мыслиться как некое пространство, в котором, обретая юридический статус, можно сохранить свои сущностные свойства либо утратить некоторые из них. Достаточно упомянуть такое словосочетание как "вхождение страны в рынок". Насколько человек может сохранить себя в условиях этого правового режима, есть ли в нем место для тех ценностей, без которых невозможно жить достойно? Образ жизни, создаваемый правом, может исключать какие-либо проявления человеческой активности, поэтому правовое пространство не совпадает с пространством социальным. То, что имеет место в социальной жизни, оказывается ничтожным с точки зрения права.

Таким образом, правовое пространство небезразлично к сути тех явлений, которые обитают внутри него. Пространственное бытие не есть внешняя характеристика предмета, оно связано с его внутренней сущностью.

Все события в правовой сфере в конечном счете можно представить как приобретение либо утрату статуса. Здесь мы встречаемся с движением как одной из форм проявления активности: собственно юридическим фактом служит перемещение субъекта права от одного статуса к другому. В этой системе координат правовой запрет оказывается препятствием. Препятствие существует лишь для движущегося объекта.

Мерой движения оказывается расстояние, которое расположено между двумя точками пространства. П. Флоренский, указав на невозможность определения кратчайшего расстояния, предложил считать мерой преодоленного пространства работу, затрачиваемую на это субъектом движения. Расстояние, преодолеваемое нами без усилий, незаметно, оно различимо лишь тогда, когда на него затрачиваются собственные ресурсы [Флоренский, 1993].

Иначе говоря, правовое требование, обращенное ко всем, вынуждает людей приложить неодинаковые усилия, чтобы сохранить дистанцию между собой и чертой, за которой их подстерегает ответственность. Мы не можем констатировать единое правовое пространство. Есть пространства, в которых быть правопослушным и порядочным человеком просто. И есть пространства, в пределах которых сохранение человеческих свойств и уважения к закону сопряжено с большими трудностями. Правовое пространство неоднородно; это утверждение равнозначно тезису о том, что правовое пространство пронизывается силовыми воздействиями, искривляющими траектории движения.

Если проследить наш обычный путь с работы домой, то можно заметить, что ритм движения постоянно меняется. Мы замедляем шаг, рассматривая витрины магазинов. Заметив впереди неприятного типа, переходим на другую сторону улицы, обходим стороной опасные участки, отказываемся от услуг подозрительного таксиста и т.д. Иначе говоря, пространство представляет собой поле сил, которые действуют на всех, кто входят в это поле.

Тезис о том, что отношение к праву обусловлено, помимо прочего, также и местонахождением субъекта в пространстве, ломает привычные представления о законе как всеобщем. На протяжении многих тысячелетий люди полагали, что норма, содержащаяся в законе, обращена ко всем в равной степени. Если, например, кража запрещена уголовным кодексом, то, следовательно, воровать одинаково нельзя как в Москве, так и в Вологде. Однако парадоксальные выводы о пространстве, сделанные Н. Лобачевским в прошлом веке (в частности, утверждение о том, что разные явления физического мира протекают в разных пространствах и, следовательно, подчиняются соответственным законам этих пространств), юристами до сих пор не осмыслены, хотя уже много лет разговоры о противостоянии России Западу, о "третьем мире" должны бы их насторожить.

Для провинциального мироощущения характерно понимание того, что у мира, как и у всякой вещи, есть центр. Возможно, такая пространственная организация мира

опирается на опыт промаха, неудачи, ошибки, который трудно избежать: путешествие не всегда приближает к цели, охота не всегда приносит удачу, слово не во всех случаях вмещает мысль, да и сам человек далеко не всегда причина своего поступка.

Декарт поместил собственно человеческое в голову человека, а в самой голове основанием всего прочего признал лишь мысль. Когнитивный, то есть мыслящий субъект, существующий в человеке, выталкивает на периферию собственно человеческое тело. "Настоящим" качеством в человеке в классической метафизике признавалось лишь его сознание, но не его физиология. Согласившись с этим, европейская философия утратила метафизического субъекта, поскольку к нему, как заметил Ф. Ницше, мысль приходит независимо от его воли и желания. Нельзя думать, если не думается (см. [Зотов, Мельвиль, 1988]).

Возвратные глаголы дали основание последователям Л. Витгенштейна заявить в XX в. о новой теме в философии – о субъекте, который присутствует как особая организация языка. Тема субъекта в современной философии не котируется: "…А давайте забросим куда подальше субъекта метафизического и заменим его субъектом постметафизическим!" – предложил в своей недавней книге В. Декомб [Декомб, 2011, с. 7].

"Куда подальше" – солидная дистанция. Вопрос в том, можно ли преодолеть собственный провинциализм простым игнорированием свойственного ему мышления? И если формы провинциального мышления находят свою институализацию в социальных конструкциях, каким образом можно их послать "куда подальше", и при этом самому не оказаться в местах, не столь отдаленных?

Провинциальное сознание помещает истинное бытие в особую точку времени культурного или географического пространства, сам же субъект находится в другом месте, куда не добирается юрисдикция истинных ценностей. Так возникает знакомая оппозиция: провинция–столица. Жизнь в провинции отличается от столичной. В провинции события не так значительны для судеб страны, здесь потише, ближе к природе, естественней, словом, люди проще и искренней. Главная же *особенность провинциальной ментальности состоит в понимании несоответствия субъекта собственному бытию*: настоящие события происходят не здесь и не со мной. В провинции прозябают.

Если провинциальный человек – именно потому, что живет на периферии, – не способен быть субъектом исторического действия, поскольку история всегда где-то "там", специфику его бытия можно определить через *опыт исторической непричастности*: он не там, не тогда и не с теми. И даже пребывание в центре мира – в Риме, каким бы он ни был по счету, – не приносит уверенности в том, что где-нибудь в Палестине не происходят события, в силу которых Рим снова окажется провинцией при новом порядке вещей.

Провинциал постоянно мыслит себя в пространственной оппозиции месту, с которым он связывает бытие подлинного. Его жизненная стратегия определяется тем, как он осваивает пространство подлинного и настоящего, будучи погруженным в несовершенную и вторичную провинциальную жизнь. Из провинции "выбираются" либо "выкарабкиваются". Эта жизненная стратегия, которую для простоты можно именовать "провинциализмом", встречается везде: в искусстве, в быту, в армии и на войне, в политике, в философии и науке.

Приметы этой стратегии обнаруживаются в рассуждениях о загадочной душе и вненаходимости России (Россия не удовлетворена тем местом, которое она занимает в истории цивилизации), о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне (неоплаченный долг спасенного мира), в рассуждениях сверхсрочников о "серой гражданке", в снобистских заметках о том, где играют настоящий джаз, не говоря уже о таких явлениях в правовой жизни, как ссылка или высылка (эти виды уголовного наказания были бы невозможны без провинциального мировоззрения). И я со своим интересом к провинциальному, вытекающим из интереса к субъекту как таковому, также оказываюсь в ситуации провинциала, которым становится сегодня каждый философ, не поспевающий за постмодернистской критикой метафизики.

Субъект вторичен. Его провинциальность производна от той метафизики, внутри которой он только и может о себе заявить как об "усилии быть" (М. Мамардашвили). Его бытие – только в движении, метафизический субъект мыслим лишь как существо притязающее. Однако стоит только его притязанию воплотиться в желаемый статус или действие, соответствующее статусу, субъект оказывается вторичным по отношению к самому действию: нельзя констатировать бытие субъекта без того, чтобы не указать на какое-либо событие, в котором он состоялся. И в самом себе человек также ощущает "места", каждое из которых – помимо неосязаемой души – представляет собой провинцию, периферию. И если провинциальный человек обречен жить "не там", то вся его телесность – это "не он".

Если истинное бытие помещено в иное пространство, то место, занимаемое вещью, не способно соответствовать ее состоянию или сущности. Провинциал живет в мире, где все норовит быть произвольным. Он добивается признания, ищет инстанцию, которая могла бы удовлетворить его экзистенциальную потребность в определенности и устойчивости, и называет столицей место расположения этой инстанции (*capital* – это не только устойчивое, но и – столица, основание), однако столичное признание в провинции – лишь иное наименование привилегии, иным значением оно не обладает.

Близкая действительность провинциала угнетает: ведь если смысл расположен не здесь, пребывание в обессмысленном мире невозможно: утрачиваются мотивы к какой бы то ни было деятельности, поскольку она не имеет ничего общего с целями. Жизнь в провинции являет нам прощание с субъектом – угасание сознания, отказ от собственной субъектности. И когда в этом прощании он приобретает нечто большее, нежели он сам, – род, родину или иную ценность, с которой он хотел бы слиться, – провинциальная жизнь с таким сюжетом проделывает удивительные штуки, если не сказать – шутки. Речь выдает провинциала: он уже ничего не может сказать о себе, поскольку окружающий мир не содержит свидетельств его бытия. Поэтому первым пробуждением провинциала оказывается движение к центру: пешком в Москву – как М. Ломоносов, инкогнито в Голландию – как Петр I. Это движение к центру парадоксально: провинциал, покидая провинцию, укрепляется в своем статусе провинциала, поскольку он не предпринял бы этого действия, если бы им не был. Забегая вперед, скажу: было бы странно, если бы провинциала в столице не ожидало разочарование. Провинция – повсюду, а вот столицы – нет. То, что он считает столицей, шокирует его своей бессмысленностью, провинциал "зависает" между безумием столичного города и идиотизмом деревенской жизни.

Физическое пребывание в столице не исключает провинциальной ментальности, если остается склонность к градации бытия на настоящее и ненастоящее. Поэтому столичные жители – такие же провинциалы, если они всерьез рассуждают о собственных преимуществах, проистекающих лишь из случайного обстоятельства их данного местопребывания. Бегство Чацкого есть неприятие столицы и протест столичного провинциала, но не возвращение к корням и не обретение нового смысла. Коль скоро мы определяем провинциальное сознание не как провинциальную субкультуру, а как сознание, производящее градацию бытия, столица не является носительницей "столичного" сознания. Столица – категория провинциального мышления, допускающего локализацию истинного бытия в какой-то географической точке, временно́м отрезке или в иной сфере сущего. Провинциальное мышление являют нам и столица, и Европа, коль скоро критерием социального прогресса признает лишь собственный исторический опыт. "Я пришел дать вам волю!" – вот не самый радикальный лозунг провинциала, исповедующего идеологию мессианства.

Движение к центру часто соскальзывает к имитации, поскольку провинциал не располагает духовными ресурсами жить подлинно настоящим. Он слаб в своей субъектности, поскольку в условиях дефицита настоящего любая идентификация затруднительна. Нормы в условиях дефицита легитимности бездействуют. Господствуют неразбериха, случай и произвол, самодурство местной власти и беззаконие. Провинциалу

необходим источник легитимного утверждения, но никакая авторитетная инстанция в пространстве провинциального невозможна, поскольку все настоящее – не здесь.

Итак, провинциал потерян. Провинциальное мироощущение повсюду создает зону напряжения между истинным и неистинным бытием. Провинциал относится к праву как чему-то ненастоящему, ему недоступны собственный смысл и ценность права, в которых он не усматривает бытия чужой свободы. Провинциальное правосознание понимает право как вынужденную уступку, форму вынужденного отчуждения человека от самого себя. Если право составляет всего лишь благоразумную уступку власти, оно превращается в форму человеческого отчуждения от своей предметности: право всегда сохраняет легальную возможность совершать поступки, к которым мое "Я" никакого отношения не имеет, они нравственно не обусловлены. Потому в провинциальном мироощущении право претендует на роль обстоятельства, исключающего моральную и нравственную ответственность.

Поскольку провинциальное сознание не знает ценности права и воспринимает его лишь как внешнее принуждение, оно склонно ценить власть именно за то, что та спасает от юридической силы закона – позволяет избежать необходимости следовать правовым нормам. Защита от всеобщего закона – главное достоинство власти в глазах провинциала, поэтому он цепляется за привилегии ("отнятое у других право") и покушается на юридическую силу общеобязательной правовой нормы. Провинциальное правосознание ценит льготы и прекрасно объясняет себе обычаи коррумпированной власти.

Легкость, с которой трансформируются политические и правовые институты, – следующая особенность провинциальной культуры. Провинциал легко становится заговорщиком, он склонен к бунту и революции, ибо ему нечего терять. В чужом бытии у него ничего нет своего, поэтому приобретение неотличимо от кражи. Преступления понимаются как запрещенное "свыше" деяние, сам запрет никак не обусловлен внутренней природой поступка, его сущностью. По этой же причине отношение к преступникам также лишено онтологического обоснования: в них не видят людей, у которых способность к преступлению составляет важную личностную особенность. Преимущественно их воспринимают как неудачников, аутсайдеров, то есть людей, утративших ощущение реальности и не реагирующих на очевидную правопослушным гражданам необходимость прагматического отношения к установленным государством нормам. Отсутствие карательных притязаний, незаинтересованность и равнодушие к общей судьбе в провинциальной культуре легко выдаются за человеколюбие.

Провинциал полагает, что мир несправедлив, если с ним происходят события, недостойные его (провинциала). Свою уязвимость он воспринимает как несовершенство мира и потому во всяком его призыве к наведению порядка содержится моральный упрек другим. Провинциальная ментальность создает культуру, в которой ценность права низведена до ничтожно малого: посредством права легитимируется анонимность человеческого существования. В эпоху торжествующего провинциализма, когда право было отброшено идеей национального возрождения и превосходства, немецкий пастор Д. Бонхёффер писал из нацистской тюрьмы: "Если у нас не достанет мужества восстановить подлинное чувство дистанции между людьми и лично бороться за него, мы погибнем в хаосе человеческих ценностей" [Бонхёффер, 1994, с. 40].

Коль скоро именно законом предписано должное поведение, источником права признается повеление власти. Для провинциального деятеля именно власть легитимирует собой право, поэтому к сторонникам правового государства и принципа законности он относится с политическим недоверием. Политическая воля признается главным основанием права, само же право с его процедурами и предписаниями утрачивает свою регулятивную роль.

Мир, открывающийся взору провинциала, не имеет в себе собственного источника долженствования. Не стремясь к тому, чтобы освоить мир как общую собственность, а самого себя понять не только как деятеля, но и как принадлежность чему-то высшему, нежели он сам, провинциал относится к многообразию человеческих интересов как к

хламу, а к правовым притязаниям другой личности – как помехе на пути к собственной цели. Провинциальное правопонимание, не способное раскрываться всеобщему, никогда не согласится с тем, что представление о юридической силе правовых норм и суждений имеет онтологическую, а не релятивистскую, игровую природу.

Угнетаемый своим местоположением провинциал отрицает тождество с самим собой, поэтому он не способен к ответственности и легитимности. Идея "непрерывной легальности" была чужда фашистам, она была чужда большевикам, убежденным в том, что государство нового типа возможно лишь в виде диктатуры рабочего класса, призванной сломать государственную машину. Провинциал, не склонный возлагать надежды на развитие каких-либо форм – потому что идея развития предполагает в субъекте собственые онтологические основания, – по своей природе предрасположен к насилию и, что особенно заметно – к насилию символическому: он идет к Манежной площади, потому что она расположена под стенами Кремля в центре Москвы. Он бы пошел на Красную площадь или непосредственно в Кремль, но этому препятствуют ряд обстоятельств. Он осторожен в выборе объектов расправы. "Только не бейте ментов!", – кричали молодые люди на Манежной площади в декабре 2010 г.

Провинциальное правопонимание внутренне противоречиво, ибо не знает действительных оснований права. С убеждением в том, что власть способна подмять под себя право и предложить народу любые варианты конституции, трудно объяснить, в силу каких причин все эти инициативы власти не станут губительны для нее самой. Если правом может быть все, даже абсурдные законы, что же тогда называть не-правом? Какие моральные основания могут быть у борьбы с преступностью, если наказуемость деяния определяется не внутренней природой преступления, а прихотью, капризом должностных лиц, интригами лоббистов? На чем может быть основано уважение к суду, если вчерашние заключенные, обладая депутатским мандатом, обсуждают амнистию по отношению к нынешним правонарушителям? Становится ясно, почему провинциальное правосознание сопровождается имманентным ему кризисом законности. Нет единого правового пространства, оно пестрит: калужская законность следует за рязанской, амнистия – за преступлением, поправка – за законом.

Уход от этой двойственности бытия был бы возможен как процесс формирования нового субъекта правового и политического поведения. Однако здесь мы обнаруживаем в самих себе неоправданные ожидания. В силу каких причин, которые предопределяют провинциальное мышление, субъект окажется способным преодолеть зависимость?

* * *

Современная юридическая литература не испытывает недостатка в утверждениях о необходимости ценностного отношения к праву, без чего невозможно становление гражданского общества и уважения к личности. Однако важно знать, в силу каких причин право действительно превращается в ценность.

Позитивное право провозглашает принцип равенства по мере того, как освобождается в своем развитии от провинциальной ментальности, одним из проявлений которой следует указать на свободу от права, будь то привилегированное положение монарха и приближенных к нему лиц, наличие у государственных учреждений неограниченной компетенции или известный в недавней российской истории "примат политики над правом"[1]. Предметность права, с которой вынуждены считаться люди, и есть та данность, которую нужно принять как принадлежащее самому социуму его имманентное свойство, ощущаемое нами как юридическая сила властно-распорядительных суждений о должном. Необязательно усматривать юридическую силу в норме позитивного права как таковой; суждение власти о факте в случае акта применения права в любом случае указывает на норму, поскольку отношение к частному не может быть иным,

[1] «"Особое качество" советского права состоит в том, что оно отрицает всякое право», – так В. Нерсесянц оценил итог дискуссии 1930-х гг. о новой сущности советского права [Нерсесянц, 1997, с. 270].

кроме как с позиции всеобщего. Поэтому юридическая сила уплотняет пространство власти по мере того, как содержание права приобретает свой понятийный аппарат, а юридическая практика от толкования норм права переходит к логико-семантическим связям, придавая значение не только тому, что говорит законодательная власть, но и тому, что о себе говорит сам закон, в частности какого отношения к себе требует его юридическая природа. В обществе с развитой правовой культурой обязательную силу получают не только нормы права, но и суждения юристов, непосредственно в этих нормативных актах не содержащиеся. Если доктрина признается источником права наряду с волеизъявлением власти, можно надеяться, что власть ограничена правом не одним лишь внешним образом, но и по своему внутреннему существу; она не может позволить себе инициативы, вступающие в противоречие с собственной логикой права и его определениями.

Итак, юридическая сила не характеризует собой внутреннюю энергию самого субъекта права, его готовность к исполнению предписания власти и волевую сосредоточенность. Она внешним образом воздействует на человека и являет собой объективное выражение той связанности общей исторической судьбой народа, которая в образе миропорядка послужила основанием власти. Никому не дано усилием воли породить юридический факт или придать своему решению юридическую силу, подобно тому, как никто не способен собственным мнением определить стоимость вещи или изобрести язык[2]. Юридическая сила есть самобытное свойство правовых отношений, внутри которых образуется норма в юридическом смысле – как мера должного поведения, определяемая источниками позитивного права (законом, распоряжением, договором, судебным решением и т.д.) и адресованная не определенному персонально кругу лиц.

Юридическая сила правовых норм, таким образом, обнаруживает согласие субъектов правоприменения – тех граждан, которые готовы в ущерб своей индивидуальности отказаться от некоторых правовых притязаний во имя достижения общих целей. Строго говоря, именно эта способность и придает притязанию свойство правового. В объяснении юридической силы можно воспользоваться избитой метафорой и указать на связанность людей их собственной волей. В известном смысле юридическая сила характеризует действие правовой нормы, взятой в противоположность моральному, политическому или нравственному требованию и ограничивающей их возможности непосредственного регулятивного воздействия. Однако мы не поймем природу этого действия нормы и невесть откуда взявшуюся у субъекта волевую способность связать собственную волю, если не будем видеть здесь встречу субъекта права с внешним ему миром, который существует сам по себе и в отношении к которому мерой признания его предметности может послужить уважение к норме или законному решению как таковым.

Придание своим велениям юридической силы для власти всегда означает признание реальности тех, кому эти распоряжения предназначены. “Предпосылками реалистического жизнепонимания были и всегда будут: есть реальности, т.е. центры бытия, некоторые сгустки бытия, подлежащие своим законам, и потому имеющие каждый свою форму; посему ничто существующее не может рассматриваться как безразличный и пассивный материал для заполнения каких бы то ни было схем, а тем более считаться со схемой эвклидо-кантовского пространства; и потому формы должны постигаться по своей жизни, через себя изображаться, согласно постижению, а не в ракурсах заранее распределенной перспективы” [Флоренский, 1993, с. 205].

Свобода субъекта, постулируемая в наличии у него своей воли, задана тем обстоятельством, что он зависим от собственной цели, влеком образом того бытия, которым в настоящем не располагает, однако в отличие от провинциального отношения к миру эта разъединенность истинного и действительного переживается как необходимость пре-

---

[2] Потому представляется, что О. Лейст занимает непоследовательную позицию, когда, с одной стороны, признает волевой характер правовых норм, а с другой – пишет о том, что “право – язык, которым государство говорит с народом” [Лейст, 2002, с. 21, 265].

одоления разрыва того и другого, как нравственный императив восхождения к идеалу. Мир значим в любой точке нахождения в нем субъекта, стало быть, правовое долженствование приобретает юридическую силу на всем освоенном властью пространстве, становясь из явления внутреннего отношения внешним событием. Движение за равноправие, сопровождающее человечество на всем протяжении его истории, своей первой победой могло бы расценить появление юридической нормы как таковой, поскольку отвлеченность от индивидуальных признаков ее адресатов уже ставит их в равное положение. От обретения юридического статуса (признания правосубъектности) – к равенству самих статусов, такую формулу прогресса и развития правовой культуры мы наблюдаем в европейской истории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бонхёффер Д. Сопротивление и покорность. М., 1994.

Декомб В. Дополнение к субъекту. Исследование феномена действия от собственного лица. М., 2011.

Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX–начала XX в. М., 1988.

Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002.

Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997.

Флоренский П.А. Иконостас. Избр. труды по искусству. СПб., 1993.

© Ю. Пермяков, 2012